

Михаил Петрович Арцыбашев

**Преступление доктора
Лурье**



Михаил Петрович Арцыбашев

Преступление доктора Лурье

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2848865

Аннотация

«В экстренном собрании медицинского общества я торжественно исключен из числа членов; надо мною висит тяжкий судебный процесс; газеты переполнены описаниями моего преступления, находятся люди, во имя гуманности взывающие к гильотине; в бульварных иллюстрациях мои портреты помещаются как портреты одного из величайших преступников своего времени. Подвергнутый остракизму, всеми оставленный, в тюрьме, заклеенный именем злодея, предмет всеобщего возмущения, я – конченный человек...»

Содержание

I	4
II	11
III	19
IV	24

Михаил Петрович Арцыбашев Преступление доктора Лурье

I

*Потому что во многой мудрости много печали,
и кто умножает познания – умножает скорбь.
Екклезиаств, 18*

В экстренном собрании медицинского общества я торжественно исключен из числа членов; надо мною висит тяжкий судебный процесс; газеты переполнены описаниями моего преступления, находятся люди, во имя гуманности взывающие к гильотине; в бульварных иллюстрациях мои портреты помещаются как портреты одного из величайших преступников своего времени. Подвергнутый остракизму, всеми оставленный, в тюрьме, клейменый именем злодея, предмет всеобщего возмущения, я – конченный человек.

Видит Бог, что меня мало огорчает презрение общества, не пугает каторга, еще менее трогает звание злодея и совершенно не беспокоит будущее.

Я принадлежу к числу людей, для которых нет суда, кроме суда своей совести, которые свое счастье и свое страдание носят внутри себя. Я могу жить один. В нужде, в изгнании или каторге я останусь тем же Жаном Лурье и так же буду смотреть на мир, как смотрел, будучи всеми уважаемым, подающим большие надежды молодым ученым, членом многих ученых обществ.

И сейчас так же твердо смотрят мои глаза, так же непреклонна воля, так же ровно бьется сердце, так же ясен мой ум, И если я пришел к своему последнему решению, то человечество повинно в этом столько же, сколько стул, на котором я сижу в эту минуту.

Причины моего самоубийства, быть может, будут понятны немногим, но так как ход моей мысли и глубже и сильнее моего слова и я не могу выразить даже и сотой доли своих переживаний, то пусть имеющий уши, чтобы слышать, и мозг, чтобы мыслить, сам проникнет в смысл страшной истины, внезапно открывшейся предо мною, а я буду говорить только о своем пресловутом преступлении.

Вот схема его, как она запечатлена протоколом и газетами:

Я, доктор Жан Лурье, во время своего последнего путешествия по Центральной Африке силой захватил в рабство молодого негра из племени кафров, по имени Разу, в глубочайшей тайне привез его в Париж, поместил в закрытой для всех, уединенной оранжерее и держал его там, в одиночном заключении, с целью каких-то ужасных опытов. В од-

но прекрасное утро несчастный негр, не вынеся утонченнейших мучений, которым подвергал его доктор Лурье, покончил с собою, повесившись на железном переплете оранжереи. Невозможность оставить труп в квартире и необходимость, в целях сокрытия следов преступления, прибегнуть к помощи своего служителя Жозефа послужили к раскрытию злодеяния, и дело стало достоянием следствия и суда.

Все это так... В интересах истины газеты должны были бы прибавить, что этот злодей, доктор Лурье, вовсе и не старался скрыть свое преступление и что предательство Жозефа заключалось только в том, что, внезапно увидя голый черный труп, он поднял неистовый крик, чем привлек внимание случайных прохожих, сообщивших об этом полицейскому сержанту. В это же время я, перенеся бедный труп из его помещения в приемную, уже одевался, чтобы идти с заявлением в префектуру.

Я не думал скрываться: что я сделал, то сделал... Но мне глубоко жаль моего бедного Разу, который привязался ко мне, как собака... Я искренно сознаю весь ужас своего преступления и сам гибну жертвой того же опыта, которым погубил и бедного негра.

Знающим меня известно, что я посвятил свою жизнь науке, что я неоднократно рисковал, берясь за самые сложные и опасные эксперименты, с единственной целью – найти истину, которой думал осветить мир.

Я привил себе сифилис, чтобы доказать действительность

препарата профессора Эгье; я провел шесть месяцев в самом очаге чумы, в Голконде, производя рискованные опыты с культурой чумных бактерий; я выдержал мучительный искус двенадцатидневного голода; я, больной цингой и скорбутом, зимовал на крайнем севере; я, с ружьем в руках и револьверами за поясом, потрясаемый желтой лихорадкой, шел во главе опасной экспедиции по истокам Нила; я доказал, что электрический ток свыше 2000 вольт так же безопасен для человека, как дуновение ветерка, для чего спокойно занял место в кресле, на котором нью-йоркские гуманисты пытались разрешить задачу о безболезненной смертной казни...

Все: это, в связи с неустанной, напряженной многолетней, работой в лабораториях, дало мне звание члена Пастеровского института, уважение величайших ученых нашего времени и даже некоторую славу если и не выдающегося ученого, то, во всяком случае, – человека, бескорыстно и страстно преданного науке.

Теперь все это, конечно, забыто, и я сам вспоминаю об этом вовсе не для того, чтобы облегчить тяжесть общественного негодования, а только затем, чтобы стало понятно, почему именно мне было естественно прийти к своему странному, жестокому и роковому опыту.

Человек, который столько раз жертвовал собственной жизнью ради идеи, и жертвовал совершенно бескорыстно (ибо умри я как пораженный молнией, хотя бы во время опыта с электрическим эшафотом, я даже не узнал бы, что вы-

шло из моей жертвы), имел некоторое основание, если не право, воспользоваться для опыта и чужой жизнью, раз собственная просто была непригодна для опыта именно такого рода.

Я не стану говорить о том, каким путем сложных извечений мысли я пришел к необходимости своего опыта, и скажу только, что, посвятив все силы и самую жизнь знанию, я, естественно, должен был задуматься наконец над вопросом: в знании ли залог счастья человеческого, добру или злу служу я, созидая – не разрушаю ли?

О, сколько умных, ученых, совершенно искренних и благородных людей проводят жизнь в труднейших изысканиях, открывая все новые и новые тайны природы и ни разу не задумываясь над тем, куда они ведут человечество, которому служат всеми силами своей души.

Я сам, прививая себе яд ужасной болезни, не думал тогда о том, что, сохраняя жизнь пораженным индивидуумам, подготавливаю целые века страданий для их потомства – слабоумных, калек, уродов и злодеев.

Да, ученый ищет истину только для ближайшего этапа того пути, на котором стоит: открывая взрывчатое вещество, он не заботится о том, что его динамит больше разорвет человеческих тел, чем скал, больше породит ненависти и преступления, чем машинных двигателей. Ему важно сделать лишний шаг по пути в вечную тьму, окружающую человечество, а куда ведет этот путь, что ожидает человека в конце

этой дороги, он если и думает, то лишь общими красивыми фразами – этим непостижимым божеством человечества, во имя которого оно миллионы лет обливается кровью и слезами.

Вначале было Слово, сказано в книге Бытия, и слово было Бог!.. Но это было не вначале, это было всегда и есть теперь: слово движет человеческой совестью и мыслью, словом подменяют непостижимые тайны, во имя слова идут на смерть. И долг разума, так решил я, не создание новых слов, не утешение словом, не обман словом, как бы прекрасно ни было оно, а разрушение слова. Разум должен сорвать маску прекрасных слов с гнилого черепа человеческой жизни, показать его во всем безобразии и ужасе его. Тогда, когда уничтожатся все предрассудки, созданные обаянием хитро-сплетенных слов, когда обнаружится голая истина, когда падут суеверия религиозные, моральные и философские и когда люди поймут, что там, под звездами, нет никого, что они беззащитны, одиноки и несчастны в самом существе своем, тогда они найдут, что им делать. Быть может, они уничтожат свою бесполезную жизнь, быть может, они убьют себя и других, быть может, они сольются в истинное братство одиноких, только себе и между собою близких существ, но, что бы ни сделали они, это будет истиной и будет лучше того нелепого кошмара, который тянется уже столько веков, как затяжная, мучительная, безобразная и омерзительная агония.

Это понял я, и так как вся моя жизнь была посвящена

неуклонному, самоотверженному служению знанию, во имя прекрасных слов: «наука, прогресс, свет и благо для всех», то я и выступил на борьбу со своим собственным идолом, наиболее живучим из всех созданных словом человеческим.

Во имя этого идола разрушают созданное для блаженства человека, великое, блаженное незнание, по камешку, по плиточке растаскивают великое здание громадного, непостижимого, прекрасного в своей тайне, превращая чудо в скучную, сухую мелочь научного закона. И, обнажая пышное тело мира до его скелета, думают, что обогащают мир человека, несут ему счастье и спокойствие.

Я проклинаяю это знание теперь. Но чтобы дойти от рабского служения до проклятия, я должен был пройти долгий и мучительный путь. Смерть моего бедного негра была последним связующим звеном – этот опыт, опыт, как сознаю я сам, величайшей жестокости, был последним опытом.

II

Мой выбор пал на Разу совершенно случайно и по пустому, даже несколько забавному поводу.

Это было в Африке ночью, когда наш небольшой отряд расположился бивуаком на берегу реки, на плоской песчаной отмели, на которую мы вытащили наши лодки.

Ночь была темная, но звездная. Звезды горели так ярко, как будто здесь они были ближе к земле. Я сидел один на песке, прислушиваясь к загадочным и значительным звукам ночи.

Передо мною, тускло поблескивая своей таинственной гладью, лежала река, в которой медленно колыхались отражения звезд и темного леса на противоположном берегу.

Воздух не двигался, и спавший жар дня еще давал себя чувствовать сухой, размаривающей духотой. В лесу, за рекой, неумолчно и жутко подавал свои голоса дикий лес. Изредка можно было разобрать уханье черной жабы, писк маленького зверька, может быть, попавшего в когти ночной птицы, подстерегающий свист змеи и рыхлое рычание голодного хищника. Но все звуки сливались в одну чужую мне, загадочную, полную своего смысла и своих тайн музыку. Я слушал ее с жутким, напряженным вниманием и чувствовал себя одиноким, – окруженным какой-то враждебной, громадной и хищной жизнью. Надо мной возвышалось залитое ог-

нями бездонное и бескрайнее небо, и как раз над лесом в недосыгаемой высоте сливались в одну точку две звезды.

Я знал пути этих гордых и прекрасных звезд, знал заранее, что именно в эту ночь они сблизятся, и моему холодно-му европейскому разуму не казалось ничего таинственного и непонятного в этом величественном явлении ночи.

Но в этом жутком, душном мраке, в обаянии темной глади вод, голосов леса и дыхания неведомых ночных ароматов, на гладкой отмели, в одиночестве, эти высокие знаки вечности, в молчании начертавшие в безграничной бездне новую форму хода времен, возбуждали во мне какую-то тихую, безнадежную грусть и едва ощутимый бессознательный ужас перед непостижимой громадностью вечности и бесконечности.

Я задумался о своей и чужой жизни, вспомнил все свои скитания в напряженной погоне за тем, чтобы прочесть хотя одну букву в этой таинственной, развернутой перед глазами человека бесконечной книге вселенной.

И не впервые, но особенно остро и больно ущемил мое сердце вопрос:

– Полно, не напрасно ли?.. Принесло ли хоть крупицу счастья или хотя бы спокойствия все то, что так упорно и мучительно удалось мне сделать в этот короткий срок, который я называю своей жизнью?

Маленькая обезьянка пронзительно закричала в лесу, и невольно представилось ее человекообразное хрупкое и бессильное тельце, внезапно забившееся в неодолимых и без-

жалостных когтях какой-то темной, громадной силы, распустившей свои черные крылья над ее крошечной, уже окончившейся жизнью.

В эту секунду это маленькое жизнерадостное существо бьется в бесполезных усилиях, в чувстве одного ни с чем не сравнимого предсмертного ужаса. Темные крылья веют над нею, и горят круглые, таинственные, страшные глаза. Они ждут, когда затихнут последние судороги горячего маленького тельца, о котором завтра уже ничто не будет напоминать в этом вечно зеленом, полном света и жизни лесу. Ждут, не мигая, как бы не слыша предсмертных воплей, не видя судорог, безжалостные и загадочные, как сама смерть.

А еще за секунду перед тем, как над головой пронесся взмах зловещих крыл, бедная маленькая обезьянка, угревшаяся в своей лазейке, мирно дышала во сне, утомленная долгим жарким днем веселой, яркой, живой жизни.

Ее конец – один миг ужаса и страдания, быть может, даже и не понятого ею. Прыгая в зеленых ветвях за каким-нибудь орехом или с пронзительным визгом радостно раскачиваясь на хвосте над зеркальной гладью вод, маленькое существо и не думало о том, что где-то, в том же лесу, в сыром и темном дупле, слепо вращая желтыми круглыми глазами и машинально открывая и закрывая короткий загнутый клюв, сидит ее бессмысленная, неумолимая, неизбежная смерть.

Сразу от жизни, полной света, радости и движения, она, сквозь короткий миг бессознательной борьбы, переходит в

пустоту смерти. В ту самую черную дыру, в которую я, доктор Лурье, в течение десятков лет своей жизни протискаиваюсь совершенно сознательно, разрываемый на части сомнениями, надеждами, страхом и тоской. Ее великое благое незнание – милосердие природы, которого лишен я, мыслящий и страдающий человек.

Когда-то я заменял это незнание наивной и смешной, но могучей верой в бессмертие, в высший смысл и предназначение своей жизни, в мудрую волю Кого-то, сильнее меня.

Я сам убил эту веру, этот спасительный щит между собой и ужасом смертного приговора, вскрыв ее пустоту, словно ножом анатома, острием своей мысли.

Но не уподобился ли я при этом ребенку, который ломает утешавшую его игрушку только для того, чтобы убедиться, что в ней нет ничего, и выбросить ее вон, вместе с нею выбросив и еще одну радость своей маленькой жизни.

Мысль моя неотступно вращалась вокруг предсмертного вопля бедной обезьянки, давно умолкшей где-то, в по-прежнему звучащей тысячами голосов чаще тропического леса.

Ее забавная маленькая круглая рожица, с глупыми, любопытными глазками, казалось, стояла передо мной в темноте ночи, над гладью спящей реки. Она смотрела на меня пылливо и жалобно, точно спрашивая о чем-то.

Почему-то мне вспомнилось, как мать моя у нас на ферме, где я бегал еще беззаботным мальчишкой, победоносно стуча своими деревянными башмаками, резала кур. Еще тогда я

поражался, глядя на беззаботно клохтавшую курицу, важно разыскивавшую и проглатывавшую крошечных живых червячков, когда мать с длинным ножом в руке, подоткнув фардук, уже шла за ней из кухни. Эта курица, разбрасывая землю лапкой и отпугивая налетавших воробьев, чувствовала, что весь мир, солнце, тепло, земля и червяки для нее: только для того, чтобы была полнее ее куриная жизнь.

А смерть шла с ножом в руках и думала о каких-то своих делах, невообразимых и непонятных куриному мозгу. И я думал, что если бы рассказать всему птичьему и скотному двору про ножи, про обухи, про пламя печей, про блюда, на которых завтра будут пожирать их заочневшие изуродованные члены, какая паника, какой ужас и безумие воцарились бы среди них!.. Ревели бы быки, потрясая рогами крепкие заборы, прыгали и жалобно блеяли бы овцы, куры и гуси носились бы в воздухе, наполняя двор летающим пухом. И все бежало бы, кричало, ревело, разбивалось о стены. Но они не знают этого, и вот солнце светит, курица скребет лапкой, петух гордо похаживает кругом, сонно и благодушно жуют свою жвачку коровы, мирно и радостно блеют овцы... Жизнь светлая и простая благостно наполняет их мир.

В болотистой местности на закате солнца, торжественно погружавшегося в вечерние тени, сотни комаров кружились, бывало, вокруг меня с победными кликами: вот он! Сюда!.. И, вонзив жало, постепенно наливаясь моей кровью, так что круглилось и свешивалось розовое прозрачное брюшко, ко-

мар замирал в блаженстве, ощущая, как жизнь переливается во всех фибрах его существа... И, прихлопнутый ладонью, беспомощно трепеща крылышками, с разорванным брюшком, беззвучно валился на землю, даже не понимая, что случилось.

Да здравствует счастливый, незнающий, немыслящий животный мир! В нем только радость жизни и нет ужаса смерти, а потому нет и ужасного бессмыслия, нет пустоты, миллионы веков гасящих радость в сердце человека, ввергающих его в непостижимое томление духа.

И, глядя на таинственное мерцание сливающихся светил, слушая неумолчный Гул лесных голосов над темною гладью вод, я мучительно спрашивал себя:

– Но зачем же такая неодолимая жажда знания, такое неугасимое мучительное стремление все в глубь и в глубь тьмы?.. Почему же мы не удовлетворялись ни счастливой слепотой зверя, ни наивной верой дикаря, самую тьму смерти населившего благостными образами вечного света и добра?.. Неужели все это ошибка, какая-то насмешка дьявола, под прекрасным телом обнаруживающего ужасный скелет, полный смердящих и омерзительных внутренностей? Неужели, точно, человек станет счастливее, когда слетит весь покров прекрасной тайны жизни и вскрыется вся ее бездушная и слепая механика?..

И в это время взгляд мой упал на маленького негра, неподвижно сидевшего в трех шагах от меня, поджав ноги, и с

благоговением дикаря смотревшего на невиданное им величавое небесное явление.

Его круглая курчавая головка была поднята вверх, черное личико серьезно, и при слабом отблеске звезд чуть мерцали его наивные большие глаза с белыми выпуклыми белками.

Было уже поздно. Желая посмотреть, который час, я вынул часы и карманный электрический фонарик. Скучающим движением я нажал кнопку, и слабый таинственный огонек голубеньким лучом лег во тьму.

Я слышал, как зашуршал песок под удивленным Разу. Маленький негр, выпуча черные глаза, смотрел на меня и на таинственный холодный огонек, ровным голубым лучом тихо скользивший по моим пальцам, одежде и по песку берега.

Какая-то смутная мысль заставила меня оставить на месте свой фонарик и отойти. Голубой луч остался лежать на песке, освещая ближайшие камышинки и камешки.

Издали я внимательно следил за Разу. Маленький негр неподвижно сидел против моего фонарика и как заколдованный смотрел на него.

Если бы Разу испугался и убежал или если бы, как многие негры, пришел в бессмысленный восторг, выражающийся прыжками и дикими криками, я, вероятно, преспокойно взял бы свой фонарь и ушел бы со своими думами и сомнениями. Но бедный Разу не сделал этого. Он долго сидел, наблюдая, не потухнет или не разгорится ли огонек. Но луч светил ровно мертвенным голубым светом, точно огромный

светляк, заснувший на песке, забыв потушить свой фосфорический фонарик.

Разу оглянулся, как бы ища объяснения этой странной загадке. Глаза его, ослепленные светом, не могли видеть меня.

Наконец он шевельнулся и тихо на четвереньках подкрался к фонарику. С минуту мне было видно его освещенное снизу черное лицо с блестящими расширенными зрачками. Потом он протянул руку, похожую на лапку обезьяны, и осторожно тронул фонарик. Тронул и отдернул руку.

Луч света передвинулся по земле и продолжал светить так же ровно и беззвучно, освещая изумленное, напряженное вспыхнувшей мыслью, забавное черное личико.

III

Мне стоило огромного труда выполнить свой замысел. Я начал с того, что всеми возможными средствами, с помощью револьвера, камер-обскуры, граммофона и маленькой электрической батарейки старался поразить внимание Разу и убедить его в своей сверхъестественной силе. Признаюсь, иногда мне самому было стыдно наивности своих фокусов, известных и уже давно неинтересных малому дитяти Европы. Каждую минуту я невольно ожидал смеха со стороны Разу, но его девственная наивность, его душа дикаря, подготовленная тайнами окружающей его природы к восприятию самого фантастического, самого невероятного, видела во всех моих штуках именно то, что мне и нужно было. Он смотрел на меня странным взглядом, в котором смешивались страх, уважение и любопытство.

Я владел его языком, а проделывая свои фокусы, издавал повелительные возгласы на своем языке, казавшиеся бедному маленькому негру, конечно, колдовскими заговорами.

Мне надо было подчинить его волю, и для этого я прибег к следующему: ночью на поляне, вдали от лагеря, я с помощью камер-обскуры вызвал тень великого негра, который деревянным голосом фонографа приказал павшему ниц Разу исполнять все повеления белого человека.

После всего этого труд заключался только в том, чтобы от-

делиться от своих и не допустить Разу к общению с другими белыми, которые могли бы его разочаровать в моей сверхъестественной силе или, в свою очередь, каким-нибудь случайным фокусом разделить со мною обаяние моих чудес.

И, наконец, после невероятных трудностей, сам измученный всей этой затеей донельзя, я привез Разу в Париж и поместил его в старой оранжерее нанятого мною для этой цели старого особняка на краю города.

Со дня на день, изобретая все новое и новое, пользуясь всеми орудиями цивилизации, я окружил своего маленького пленника чудесами, в которых его слабый разум запутался совершенно.

По слову моему рождался свет, раздавался гром, сверкали молнии и шел дождь. По слову моему являлись тени людей, говорили с Разу и исчезали, как дым. Зная прозорство маленького негра, я запретил ему есть положенные перед ним в корзине плоды и уходил, чтобы, возвратившись, застать своего бедного Разу забившимся в угол, с выражением ужаса и боли на черной мордочке: прельщенный видом фруктов, убедившись, что меня нет нигде, он протягивал свою лапку к корзине и отскакивал от удара электрической батарейки.

Венцом моих проделок, смысл которых знал лишь я и которые на другого человека могли бы произвести впечатление бесцельных шалостей, было следующее.

Однажды я заметил, что Разу затосковал. Ему не доставало его пальм, реки, голосов попугаев и обезьян, голубого

неба, черных сородичей, лазанья в камышах... Я расспросил его, и по слову моему на стене появились камышовые хижины негров, широкая гладь реки, стая обезьян, качавшихся на ветках, ленивый бегемот, фыркающий в тине, чаща тропического леса и крокодилы, медленно ползающие по отмели.

Разу выразил свой восторг такими прыжками и кривляниями, что мне стало жаль его.

И вот явилось то, чего я добивался: Разу сделал меня богом своего замкнутого, непостижимого для него мирка. Часто следя за ним сквозь незаметное отверстие в стенах оранжереи, я однажды увидел зрелище поистине замечательное: бедный маленький Разу стоял на коленях перед маленьким жертвенником, сооруженным из камней, на котором стоял мой собственный портрет, чудесной силой в его присутствии появившийся на дощечке, и, потирая одну ладонь о другую, молился.

Он пел, и в словах его странной и дикой песни я слышал свое имя, повторяющееся с приложением эпитетов божеского смысла. Он пел о моей страшной силе, о тайнах, которыми владею я, о своей воле над каждым движением его, Разу, о власти моей над всем видимым миром, который появляется и исчезает только по слову моему.

Это была целая религия, и, право, своей убедительностью она нисколько не уступала религиям целого мира!.. Я был провозглашен Богом, и маленький разум негра удовлетворился моим именем для объяснения всех тайн окружавшего

его мира. Все было от меня и ко мне, прежде; всего был я, и все появилось из меня.

С этого момента я увидел, что все сомнения, страхи и тоска Разу исчезли. Его мирок был полон, раз нашлась сила, которая миловала и наказывала его, которая думала за него.

Смысл жизни его был найден, и отныне все, что окружало его, было полно этого смысла. Он стал хозяином в своем мирке, в котором к тому времени появились еще два обитателя: маленькая мартышка из Пиренеи и зеленый попугай, купленный мною за четыре франка у какой-то старушонки с Монмартра. С ними он хозяйничал, пел, танцевал, молился. Все принадлежало ему, но воля Пославшего была над ним, и он строго исполнял обряды, которым научил его я.

И вот тогда-то я счел, что наступило время. Шаг за шагом, безжалостно разоблачая сам себя, я стал объяснять Разу все мои фокусы и умерщвлять созданный мною самим и его фантазией сверхъестественный мир. Вначале жадное любопытство озаряло личико Разу. С дикими прыжками, с восторгом прикоснувшегося к тайнам мира человека он встречал каждое объяснение и сам по сотням раз проделывал объясненные ему фокусы.

Но с каждым днем пустел его мирок: тайны разоблачались, все становилось просто, привычно и скучно. Мало-помалу он отстал от фокусов и вяло смотрел на них, когда я повторял их. По целым дням он слонялся по своему крошечному мирку, отыскивая новой пищи для своей скучающей

любопытности. Я заметил его слабые попытки проникнуть за черту своего мира. Но я следил неотступно, и это не удавалось бедному негру.

Наконец я открыл ему все, кроме одного: смысла моего опыта, а следовательно, и смысла его заключения, смысла всей его жизни. Он стал приставать ко мне, но я хранил молчание, и тоска изображалась на его умном черномазом личике.

И наконец настал день катастрофы: вернувшись из Института, я нашел жертвенник разрушенным, мой портрет сожженным, обезьянку и попугая мертвыми. Разу разрушил свой мирок, свою веру и все, утратив смысл его и погружаясь в пустоту бесцельного, бессмысленного, с его точки зрения, жалкого существования человека, которому известно и неинтересно все, что вокруг него, которого тянет к тайнам самого главного, к тайне его жизни.

Я попробовал говорить с ним, но он сидел безучастно, с выражением тоски на лице, безмолвный и бездеятельный.

А в тот день, когда кончилось все, я нашел его труп, жалко вытянувшийся на железной скобе запертой двери.

IV

Вот и все.

Разу умер первым, а вторым умираю я сам. Я понял, что служу не делу жизни, а делу разрушения, что, служа знанию и срывая покровы с таинственного прекрасного мира, я обрекаю человечество на тоску бессмысленной и механической пустоты, в которой собственная жизнь его становится бесцельной и жалкой, как песчинка, уносимая ураганом.

Не знаю, поймут ли меня, но это не так важно мне. Умирая, я чувствую, что я сделал самый важный и решительный шаг по пути...

* * *

На этом кончается рукопись доктора Жана Лурье, отравившегося в камере своей тюрьмы. На рукописи имеется клеймо прокурорского надзора и чья-то надпись:

«Это писал или сумасшедший, или глупец».

Почерк, которым сделана эта надпись, резко отличается от мелкого, нервного, как бы раздробленного почерка Лурье: он крупен, сжат и сух, как почерк человека, твердо уверенного в том, что он знает, что говорит и делает. Впрочем, почерк совершенно банален и похож на сотни тысяч подобных же

почерков.